

## ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Публикуемая статья Г. О. Винокура (подготовленная к печати Т. Г. Винокур) была написана в феврале-марте 1927 г. В архиве Г. О. Винокура (ЦГАЛИ, ф. 1624, оп. 1, ед. хр. 89, л. 32) сохранились и тезисы к его докладу, прочитанному 8 марта 1927 г. в ГАХН на ту же тему: «О возможности всеобщей грамматики resp. поэтики», представляющие интерес и для понимания структуры настоящей статьи:

I. 1. Всеобщую грамматику, если она возможна, следует отличать от философии языка. 2. Всеобщая грамматика, если она возможна, не есть грамматика априорная. 3. О всеобщей грамматике можно говорить только как о грамматике универсальной, т. е. как о лингвистической дисциплине, имеющей предметом реальное многообразие языков. II. 1. Проблема всеобщего учения о применении к иным лингвистическим дисциплинам — например, фонетике или словарю — по содержанию не совпадает с проблемой всеобщей грамматики. 2. Возможность всеобщей грамматики предполагает свободную связь между внешним и внутренним членами грамматической структуры. 3. Если возможна всеобщая грамматика, то возможен и всеобщий (универсальный) язык. III. 1. Положительный ответ на вопрос о возможности всеобщей грамматики ведет: а) к смешению „содержания" и „значения", б) к отождествлению логического и грамматического значения слова, в) к истолкованию тропа как „украшения" речи или средства „экономии мысли". 2. Научный язык есть такой же троп, как и всякий иной язык. 3. Всеобщая грамматика возможна только в применении к языку без синтаксиса. IV. 1. Так как синтаксис есть фундамент поэтической композиции, то все верное в применении к всеобщей грамматике, верно так же и по отношению к „всеобщей поэтике", когда речь идет о возможности последней как науки. 2. От всеобщей грамматики (resp. поэтики) следует отличать типологические обобщения в сфере истории лингвистических (поэтических) стилей. 3. От всеобщей грамматики (поэтики) следует отличать теорию языка (поэзии), которая в свою очередь не совпадает с философией языка (поэзии).

Уже из этих тезисов видно, что Г. О. Винокур был заинтересован в таком широком понимании всеобщей грамматики, которое (как позднее у Р. О. Якобсона) было устремлено и на объединение проблем общей лингвистики и поэтики. Во многих отношениях Г. О. Винокур откликнулся и на те общефилософские подходы к изучению языка, которые шли от популярного тогда Э. Гуссерля (чьи мысли развивались и Г. Г. Шпетом) и А. Марти. Следует отметить, что годом спустя после доклада Винокура в 1928 г. специальную книгу о всеобщей грамматике печатает молодой Л. Ельмслев, отмечающий в ней воздействие на свои теории таких отечественных исследователей, как М. Н. Петерсон. Развернувшееся с 30-х годов у нас в стране широкое типологическое исследование языков и все увеличивающийся в последние десятилетия интерес мировой науки к проблеме выявления универсалий показывает, что предложенная Винокуром программа эмпирического становления всеобщей грамматики соответствует общему направлению развития лингвистики. Наиболее существенные поправки дальнейшие работы внесли в понимание возможностей исследования общей проблематики лингвистической семантики. Если Г. О. Винокуру казалось, что в отличие от фонетики и грамматики (в широком смысле, объединяющем и морфологию и синтаксис) словарь не представляет возможностей такого сопоставительного изучения разных языков, которое позволило бы сделать выводы общего характера, то в последние годы в работах по лексической семантике открылись перспективы такого изучения. Но эти и другие отдельные уточнения, которые развитие лингвистики за последние полвека позволяет внести в общетеоретическое построение Г. О. Винокура, лишь оттеняют в целом замечательное проникновенное в суть обсуждаемых проблем и ясность их постановки, характерные для этого выдающегося лингвиста.

Иванов Вяч. Вс.

О ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕОБЩЕЙ ГРАММАТИКИ<sup>1</sup>

Защищать или опровергать идею всеобщей грамматики можно естественно лишь в том случае, когда устранены все терминологические неясности, связывающиеся с этой проблемой. При том состоянии вопроса, с каким мы встречаемся в научной традиции, необходимость подобной терминологической расчистки особенно ощутительна. Термин «всеобщая грамматика» покрывает явления порою столь разнородные или столь далекие от всякой грамматики вообще, что, не разъяснив каждое из понятий, предполагаемых за этим словесным обозначением, мы все время рискуем отрицать то, в чем на деле никогда не сомневались, или утверждать то, что всегда считали заведомо мнимым. Моя задача логически распадается, таким образом, на две части. Сначала я должен ответить на вопрос, какой смысл мы влагаем или можем вложить в словосочетание «всеобщая грамматика». Это, следовательно, предполагает критику словоупотребления. И уже затем потребует ответа основной вопрос, которому посвящена эта работа: какое положительное содержание должны мы приписать всеобщей грамматике для того, чтобы о ней можно было говорить как о логически сообразной дисциплине, с особым и специфическим предметом. Так расчленилась моя задача, впрочем, только логически. В реальном же изложении, как легко видеть, обе эти темы неотделимы друг от друга и первая служит как бы контекстом для второй.

Переходя теперь к выяснению того, что же собственно может означать термин «всеобщая грамматика», я должен еще предупредить, что конкретной и с т о р и и этого термина я здесь не касался. Проследить употребление и различное понимание этого термина на протяжении истории языкознания и философии — задача не только важная исторически, но и методологически плодотворная: живой пример всегда толкает на поучительные размышления и подсказывает содержательную аргументацию. Задача эта, однако, предполагает работу столь обширную по объему, что уже в силу одних внешних условий я принужден отложить ее выполнение до более удобного времени. Это, конечно, нимало не облегчает мою нынешнюю задачу. Наоборот, она становится еще более трудной от того, что я сознательно отказываюсь от многообразной помощи, которой мог бы ждать от некоторых особенно выразительных исторических фактов и указаний, от иных метких и красноречивых определений, как и вообще от всего того, что можно было бы извлечь из внутренней диалектики движения научной мысли. Затрудняя я этим, однако, только себя самого, а в принципиальном содержании проблемы ничего не меняется от того, что истолкователь его пользуется теми, а не иными методическими средствами. Не решаясь, таким образом, поставить свою тему в контекст исторической жизни соответствующих научных идей, я в нижеследующем буду поэтому отправляться только от анализа самих понятий, как они выражены в некоторых общепринятых, но критически еще не уясненных, на мой взгляд, терминах.

<sup>1</sup> От публикатора. Статья печатается полностью по машинописному экземпляру, правленному автором и датированному 8 марта 1927 г. (ЦГАЛИ, ф. 2164, оп. 1, ед. хр. 89, л. 1—31). Библиографический аппарат приведен в соответствие с современными требованиями и, по необходимости, дополнен; постраничные сноски оригинала переведены на сплошную пагинацию; под звездочкой даются примечания о заготовках для предполагаемых автором добавочных ссылок на источники; в нужных случаях произведена орфографическая, пунктуационная и минимальная редакторская правка.

Мы начинаем, следовательно, с терминологических различий. Оставляя пока в стороне вопрос о том, какое содержание может быть приписано слову *г р а м м а т и к а*, спросим себя сначала, что может означать в данном применении термин «в с е о б щ и й». Какое-либо учение может претендовать на то, что оно всеобщее, прежде всего тогда, когда самим его содержанием предполагается, что оно имеет силу по отношению к каждому отдельному случаю в пределах данного рода или вида. Здесь предполагается, иными словами, что все отдельные экземпляры некоторой изучаемой категории вещей и предметов обнаруживают в своем строении такие *о д и н а к о в ы е* особенности, которые делают соответствующее всеобщее суждение истинным в применении к каждому из этих экземпляров в отдельности. Этот одинаковый, или *о б щ и й* момент в структуре каждого экземпляра и составляет тогда научный объект соответствующей *в с е о б щ е й* дисциплины. «Все люди смертны» — есть суждение всеобщее в силу того, что истинность его вытекает из некоторых особенностей, одинаково присущих и, следовательно, общих для каждого отдельного экземпляра человеческого рода. Этот *д и с т р и б у т и в н ы й* характер всеобщего суждения я считаю чрезвычайно существенным и необходимым его моментом, и мне придется еще в дальнейшем надлежащим образом воспользоваться этой характеристикой.

Однако уже и сейчас видно, что игнорирование дистрибутивного качества всеобщих суждений в его подлинном значении порождает сложные эквивокации. От одной, способной извратить смысл всего последующего, если она останется не устраненной, нам необходимо избавиться теперь же. Можно, например, утверждать, что для какого-либо экземплярного ряда, положим  $A_1, A_2, A_3$  и т. д. общим в первую голову является не то, что всем этим экземплярам можно приписать общую и одинаковую характеристику *В*, а только то, что каждый из них есть именно *А*, и что, следовательно, суждение типа «всякое *А* ( $A_1, A_2, A_3$  и т. д.) есть *А*» — есть суждение всеобщее\*. В применении к грамматике в этом случае можно было бы сказать: у русской, венгерской, китайской, санскритской и т. д. грамматик устанавливается то общее между ними, что каждая из них есть прежде всего то, что она есть, т. е. — грамматика. Разумеется, что и такое суждение можно условиться называть всеобщим, однако необходимо понимать, что смысл его совершенно отличен от суждений типа «все люди смертны». В последнем случае мы действительно имеем в виду некоторое экземплярное многообразие, в котором можно выделить как общие для всех отдельных экземпляров, так и не-общие в каждом из них признаки. Здесь экземпляру нечто приписывается непременно как таковому. В случае же суждения типа «всякое *А* есть *А*» — мы утверждаем уже не общее, а только *д е н т и ч н о е*. Экземплярный характер предмета, о котором идет речь, в силу этого неизбежно пропадает, и само это реальное многообразие только *о б щ и х* между собой вещей или отношений превращается просто напросто в *о д и н* предмет. Русская, венгерская, китайская и т. д. грамматики тог-

\* Судя по маргиналиям в тексте статьи и в экземпляре книги А. Марти, хранящейся в библиотеке Г. О. Винокура, здесь предполагалась ссылка на *Marty A. Spezielles über den Ausdruck der Urteile und die bezüglichen inneren Sprachformen: [«Wer meint „alle Dreiecke“, „alle Menschen“ (falls der Ausdruck distributiv zu verstehen ist)... sei e i n Begriff, dem möchten wir die Frage. . . vorlegen, welches denn nach seiner Ansicht in dem Syllogismus: Alle Menschen sind sterblich...] // Marty A. Gesammelte Schriften. II. Bd. 1. Abt. Halle, 1918. S. 260—261.*

да уже не грамматики, а только вообще одна грамматика. Легко видеть, что подобная операция в первом нашем примере невозможна. В суждении «все люди смертны» — смертность приписывается не абстракции «человек вообще», а каждому живому человеку в отдельности. Если все это верно, то у суждений типа «всякое А есть А» — не остается ничего такого, что позволило бы усматривать в них специфическое качество в с е о б щ н о с т и. Можно ли утверждать, будто дисциплина, отвечающая на вопрос, что такое грамматика, является всеобщей только на том основании, что предлагаемое ею определение грамматики приложимо всюду, где речь идет о грамматике? Ведь в противном случае оно не было бы определением! Нет поэтому никакой необходимости настаивать на специфической «всеобщности» подобной н а у к и о г р а м м а т и к е для того, чтобы защищать ее право на существование перед сомнениями эмпиризма. Эта наука о грамматике, точнее — ф и л о с о ф и я грамматики — составляет естественную часть ф и л о с о ф и и я з ы к а и вместе с последней входит в соответствующее более широкое деление основной философской науки, например, о н т о л о г и ю знака и т. п. Во всяком случае совершенно праздным занятием было бы возвращаться к полемике с теми представителями лингвистики, которые в силу тех или иных оснований возражали против законности общего философского учения о языке, как Н. Paul и др. Если есть язык, то есть и философия языка. Аксиоматичность этого положения не дает еще, однако, нам права утверждать тождество философии языка и . . . всеобщей грамматики. Можно считать несомненным, что Гуссерль, а с известными модификациями и Марти, только повредили популярности защищаемой ими идеи философской грамматики тем, что связали свою аргументацию с традицией *Grammaire générale et raisonnée* Пор-Рояля. Этот первый вывод из попытки определить специфические особенности в значении термина в с е о б щ и й можно подтвердить и более точными указаниями.

В том, что известное IV исследование II тома «Логических исследований» Гуссерля имеет в виду именно философское учение — преимущественно притом в сфере идеальных законов значения<sup>2</sup> — сомневаться невозможно просто уже потому, что он сам все время говорит об этом. Словно для того, чтобы рассеять всякие на этот счет сомнения, он в пояснительном примечании к заключительному параграфу IV исследования пишет: «Естественно, что о всеобщей (*allgemeine*), точнее — о чистой логической грамматике здесь речь идет аналогично тому, как обычно говорят об „общем языкознании“ (*wie sonst von allgemeiner Sprachwissenschaft*)<sup>3</sup>», т. е. — добавим от себя — о философии языка. Г. Г. Шпет — человек в вопросах истолкования Гуссерля достаточно авторитетный — также без сомнения совершенно прав, когда говорит, что гуссерлевская идея чистой грамматики как чисто априорное философское учение «разумеется, ничего общего не имеет с фантастической „универсальной“ для всех языков грамматикой, как это иногда себе представляют»<sup>4</sup>. Дело, однако, в том, что это

<sup>2</sup> Как увидим несколько ниже, вполне законными являются также сомнения, действительно ли о грамматике говорит Гуссерль в этом исследовании.

<sup>3</sup> Одно и то же слово *allgemeine* я перевожу здесь различно — «всеобщая» и «общее» — в соответствии с русской терминологической традицией, которая, по счастью, близко отражает наше основное противопоставление. Если, однако, предположить, что и в применении к грамматике *allgemeine* Гуссерля нужно переводить через «общая грамматика», то тем лучше для нашей аргументации. См.: *Husserl E. Der Unterschied der selbständigen und unselbständigen Bedeutungen und die Idee der reinen Grammatik // Husserl E. Logische Untersuchungen. II. Bd. 1. Tl. Halle, 1922. S. 340.*

<sup>4</sup> *Шпет Г.* Введение в этническую психологию. М., 1927. С. 81.

последнее представление создано не только не без помощи, но и при самом активном содействии самого Гуссерля. Помимо простой ссылки на всеобщую грамматику рационалистов это засвидетельствовано у Гуссерля и самим способом изложения, где доводы, которые показывают, как возможна общая философская наука о значении, сопровождаются сбивающими с толку образами, прямо направляющими интерпретацию в сферу идей универсальной грамматики и всего с ней связанного. Таков, например, образ «идеального скелета», который различные языки заполняют различным эмпирическим материалом и различным образом «одевают». В свете предшествовавших различий, мне кажется, невозможно сомневаться в том, что подобные утверждения построены на эквивокации. Когда говорят, что помимо всех тех различий, которыми разделяются между собою отдельные языки, во всех языках есть также нечто общее и «совпадающее»<sup>5</sup>, то под сферой «расхождений» и сферой «совпадений» на самом деле понимаются совершенно разные области: самое слово язык понимается здесь явно двусмысленно. В первой части разбираемого нами утверждения речь идет действительно о языках, с их национальными, физическими, социальными и т. п. признаками; во второй же его части говорится только о некоторых необходимых и достаточных условиях языка как знака идеи, о чем Марти и заявляется многократно на страницах своего главного труда с полной определенностью. Иными словами, здесь находит свое точное отражение та эквивокация, которую мы наблюдали в сопоставлении всеобщего суждения «все люди смертны» и суждения типа «всякое А есть А». Сказать, что у всех языков общими являются необходимые и достаточные условия языка как знака — это и значит сказать, что всякий язык есть язык, и не более того.

Чтобы показать, что это действительно так, присмотримся несколько ближе к фактическому содержанию IV исследования Гуссерля. В коротеньком предисловии к нему Гуссерль с недопускающей сомнений ясностью обещает установить некоторые необходимые условия языка как выражения смысла. Он говорит здесь о «законах, которые управляют в сфере сочетания значений и имеют функцией отделить там смысл от бессмыслицы (Sinn von Unsinn zu trennen)»<sup>6</sup>. Задачу свою Гуссерль видит в том, чтобы вывести некоторые «априорные формы сочетания значений различных категорий в одно значение» так, чтобы не получалась «хаотическая бессмыслица»<sup>7</sup>, т. е., добавим, чтобы сохранялись в силе идеальные отношения, предполагаемые структурой выражения. Современное языковедение целиком растворяется в психологизме и эмпиризме. Гуссерль, напротив, полагает, что «старая идея в себеобщей, и специальное, априорной грамматики получает бесспорное основание и во всяком случае своим определенным образом ограниченную сферу применения» в результате этого указания на априорные законы, определяющие «возможные формы значений»<sup>8</sup> (разрядка моя. — В. Г.) Задача философского рассмотрения некоторых идеальных условий значащего выражения очерчена здесь, на мой взгляд, настолько отчетливо, что нелегко сообразить, какое же здесь возможно еще всеобщее изучение законов сочетания значений, которое не совпало бы с только что сформулированной уже проблемой философии знака. Именно в рам-

<sup>5</sup> Marty A. Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie, I. Bd. Halle, 1908. S. 56.

<sup>6</sup> Husserl E. Ibid. S. 294.

<sup>7</sup> Husserl E. Ibid. S. 295.

<sup>8</sup> Husserl E. Ibid. S. 295.

ках этой проблемы и развивается далее изложение Гуссерля, и мы без труда вообще забыли бы это смущающее историческими реминисценциями словечко «всеобщая», если бы в последнем параграфе снова не встретились на этот раз уже со вполне точно сформулированной ссылкой на универсальную грамматику рационалистов<sup>9</sup>, в сопровождении той образной мотивировки, образец которой приведен был выше. Между тем все, что лежит на пространстве от предисловия к IV исследованию до этого заключительного рационалистического аргумента, следовательно — учение о значениях простых и сложных, самостоятельных и несамостоятельных, о границах между членораздельным звуком и синкатегорематическим значением, между членораздельным звуком и синкатегорематическим значением, между *Unsinn* и *Widersinn*<sup>10</sup> и т. п. и т. п. — все это, со всей возможной детализацией намеченных здесь проблем, разве не потому только совпадает в различных языках, что вне этого условия и «совпадать»-то нечему было бы, как как не было бы и самого языка? Разумеется, что во всем этом мы не выходим еще за пределы феноменологии значения и что ни о какой в с е б щ е й грамматике, которая предполагает не идеальную структуру выражения, а живое многообразие языков, здесь нет и речи.

Но этого мало. Можно еще усомниться и в том, подлинно ли речь здесь идет вообще о г р а м м а т и к е. Ответить на вопрос, что такое грамматика, при нынешнем состоянии лингвистической терминологии не так уж легко. Но в противоположность Марти, который, по-видимому, совершенно безразлично употребляет термины *allgemeine Grammatik* и *Sprachphilosophie*, не придавая никакого специфического значения слову «грамматика», у Гуссерля выбор именно этого названия для учения, излагаемого в IV исследовании, разумеется, нельзя считать случайным. О г р а м м а т и к е Гуссерль говорит именно потому, что в соответствии с остальным содержанием своих «Логических исследований» в исследовании о чистой грамматике он все время имеет в виду законы с о ч е т а н и я значений. Какими идеальными законами определяются возможные формы сочетания самостоятельного значения с несамостоятельным — вот собственно тот вопрос, ответ на который нужен Гуссерлю от априорной грамматики для его прямых целей. Поэтому же с полной последовательностью он говорит об этих формах сочетания как формах с и н т а к с и ч е с к и х<sup>11</sup>, а самое проблему свою, всецело в духе немецкой лингвистической традиции, именует *Formenlehre der Bedeutungen*<sup>12</sup> (разрядка моя — В. Г.). И все же я решаюсь утверждать, что термин «грамматика», а соответственно и «синтаксис» — здесь употреблен не в собственном его значении. Иносказание это имеет своим источником все ту же основную эквивокацию: «язык» как идеальная структура выражения и язык как предмет культурной истории и этнологии. Язык в первом смысле служит, разумеется, идеальным основанием для языка в смысле втором, но точно в таком же смысле он есть идеальное основание и для всякой иной освещенной, исторически зафиксированной системы знаков: искусства, литературы, науки, религии — вообще всего, что наделено значением и что поэтому непременно предполагает некоторую границу между *Sinn* и *Unsinn*. И как казалось бы ни очевидно, что исследование Гуссерля есть исследование не лингвистическое, а философское, все же и об этом нужно предупредить особо.

<sup>9</sup> Husserl E. Ibid. S. 337.

<sup>10</sup> Husserl E. Ibid. S. 325.

<sup>11</sup> Husserl E. Ibid. S. 310.

<sup>12</sup> Husserl E. Ibid. S. 295.

В лингвистической литературе существует предрассудок, будто семасиология есть проблема лингвистики, что-то вроде «истории значений» соответственно истории звуков и истории форм какого-либо конкретного языка. На самом же деле это вещи совершенно разные, хотя и связанные между собою идеальными отношениями. Истории языка надлежит еще немало потрудиться, прежде чем она выработает точные методы изложения истории значений, в частности — разграничит эту задачу с историей вещей. Семасиология же есть, была и будет дисциплиной принципиальной и философской, она устанавливает лишь общие и априорные законы в сфере значений, т. е. как раз в той сфере, к которой принадлежит и чистая грамматика Гуссерля. Можно, разумеется, не протестовать против того, что Гуссерль говорит о грамматике и синтаксисе, тем более, что термины «чистая» и «чистая логическая» (*reinlogische*) дают достаточную гарантию логической выдержанности всего построения. Однако при том неперменном условии, что эта грамматика не будет пониматься как грамматика реального этнического языка или даже реальных языков, — потому что именно это смешение, по глубококому моему убеждению, только и могло породить все недоразумения, связывающиеся с построениями в сфере в с е р о б щ е й грамматики. Не сделав соответствующих различий, Гуссерль поступил, таким образом, явно неосторожно, а связавшись с рационалистической традицией универсальной грамматики — и просто ошибочно.

## II

Это необходимое различие между языком как идеальным знаком и языком как эмпирически закрепленной системой средств выражения приобретет для нашей темы еще больший смысл, если мы теперь в соответствии с предыдущим скажем, что ниоткуда еще не видно, почему грамматика всеобщая непременно должна быть еще и а п р и о р н о й. Гуссерль вправе говорить о своей *Formenlehre der Bedeutungen* как об учении чистом и априорном. Оно и не может быть никаким иным уже по своему положению в сфере принципиального учения о значениях. Неясно, однако, какое это может иметь отношение к всеобщему суждению, относительно которого с достоверностью можно утверждать только то, что оно остается истинным в применении к каждому отдельному э к з е м п л я р у данного ряда предметов. Для такого понимания всеобщей истины, отличающего ее от истины идеальной, решительно безразличным, на мой взгляд, является вопрос о ее происхождении. И с т о ч н и к о м всеобщего суждения столько же может быть априорное умозаключение, сколько эмпирическое наблюдение, типическая характеристика, обобщенный эксперимент и т. д. и т. д., только бы сохранялась в силе формула: «всякое и каждое А в отдельности — есть В». Противоположной точки зрения можно держаться естественно только тогда, когда не различаются границы между семасиологией философской и семасиологией лингвистической. Поэтому возражения, с которыми выступил против Гуссерля в данном пункте Марти, могли бы внести действительную ясность в нашу проблему, если бы только его протест против интерпретации всеобщей грамматики в смысле ее априорности предполагал устранение этой основной эквивокации или, по крайней мере, был свободен от нее сам. На самом деле, как мы знаем, Марти в своей полемике против Гуссерля руководился совсем иными соображениями: отождествление философии языка и всеобщей грамматики, — следовательно, семасиологии и лингвистики, — только еще резче оттеняется у Марти от того, что у него не грамматика возвышается до принци-

пильного значения семасиологии, а наоборот, философское учение о знаке низводится до уровня эмпирических наблюдений грамматики. Техничность, принципиальное отношение к знаку только как к с р е д с т в у, возможное, разумеется, лишь в рамках эмпирической грамматики и стилистики, — таков ведь и основной дефект построений Марти. Даже действительные и положительные его достижения способны поэтому потерять всякую цену в глазах того, кто не даст себе предвзвешенного труда разобраться в той поистине чудовищной классификации, с помощью которой Марти определяет место своей «дескриптивной психологии языка». Достаточно уже и того, что по точному смыслу определений Марти Sprachphilosophie оказывается коррелятивной . . . Sprachphysiologie. Вместе с последней, в отличие от истории языка, она изучает не конкретное, но «общее»; а отличается от нее тем, что в этой области «общего» имеет своим предметом только такие вопросы, решение которых в силу природы вещей должно быть базировано на психологии. Так, кажется, можно истолковать эту схему, в которой для чистого априорного учения о знаке действительно не остается особого места. «Также и в отношении того, — пишет Марти, — что еще до всякого изучения отдельных языков можно узнать общего об их семантической природе, а также в отношении выраженных в них так называемых „форм“ сознания, существует нечто такое, что весьма важно для всеобщей грамматики, но что можно познать только эмпирически, не априорным путем. И уже потому кажется мне название „всеобщая“ грамматика более подходящим, чем „чистая“ или „априорная грамматика“»<sup>13</sup>. Всеобщая грамматика потому только, таким образом, не есть учение априорное, что и общая семасиология, которая на деле скрывается под этим псевдонимом всеобщей грамматики, также есть учение, одними априорными положениями не исчерпывающееся. Нетрудно видеть, что т а к а я полемика против априорности всеобщей грамматики не только не разъясняет дело, но способна еще и запутать его сверх меры. Независимо, однако, от того, что основная эквивокация и здесь остается неустранимой и что в силу этого в область «всеобщей грамматики» герр. общей семасиологии приходится наряду с эмпирическими проблемами относить и априорные, стоит все же обратить внимание, что в этом определении Марти всеобщая грамматика противопоставляется чистой как раз на том основании, что понятие ее не совпадает с понятием априорного учения<sup>14</sup>. Этого достаточно для того, чтобы закрепить теперь основной итог предшествовавших терминологических различий: всеобщая грамматика, если она вообще возможна, может существовать только как дисциплина, и не совпадающая ни с априорным учением о выражении, ни с более частным его применением, которое можно именовать философией языка, и только как грамматика в обычном и прямом смысле этого термина, т. е. как дисциплина собственно л и н г в и с т и ч е с к а я. Посмотрим теперь, как возможна эта особая лингвистическая дисциплина и возможна ли она вообще.

Заявив, что всеобщая грамматика есть г р а м м а т и к а, мы тем самым признали, что она имеет дело не с языком вообще, а с той реальной системой значений, которая именуется языком русским или английским.

<sup>13</sup> *Marty A. Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie...* I. S. 58.

<sup>14</sup> Как само собою разумеется, совершенно в стороне я оставляю здесь вопрос о том, действительно ли неразрешимы априорными средствами те проблемы, которые Марти считает основными пунктами программы «всеобщей грамматики», и правильно ли он интерпретирует понятие априорного знания вообще. Здесь важно проследить лишь формальное движение его мысли.

Допустив, кроме того, что всеобщая грамматика есть грамматика в с е о б щ а я, мы признали также, что предмет ее — не один какой-либо частный (русский или английский) язык, а все вообще конкретные и реальные языки, которые нам известны или могут быть известны. Сказать это нужно с полной определенностью для того, чтобы не возвращаться в область философии языка и априорных учений, которые, повторяю, для обоснования своего не нуждаются в псевдонимах. Таким образом, путь для того, кто хотел бы обосновать возможность всеобщей грамматики, совершенно ясен. Ему, очевидно, надлежит показать, что в грамматической структуре каждого отдельного реального языка есть такие моменты, относительно которых можно было бы сказать, что они являются для всех реальных грамматик общими и — еще проще — о д и н а к о в ы м и. При этом со всей настойчивостью снова нужно подчеркнуть, что речь здесь может идти и с к л ю ч и т е л ь н о о грамматике, а не о иных каких-либо лингвистических дисциплинах. В самом деле, столь же нетрудно убедиться, что в с е о б щ а я ф о н е т и к а, например, в возможности которой нет, на мой взгляд, никаких оснований сомневаться, есть проблема с совершенно иным содержанием, сколь легко заметить, что вообще лишена всякого содержания проблема в с е о б щ е г о с л о в а р я. Что до фонетики, то она имеет дело не с языком собственно, а только с физическими условиями языка как звучащей речи. Эта ориентация фонетики на физическое и материальное, ее необходимая зависимость от анатомии, физиологии, акустики и тому подобных дисциплин лишает вопрос об ее всеобщности той специфической остроты, которая связывается с проблемой всеобщего учения о языке к а к т а к о в о м, и во всяком случае придает ей совсем иной смысл. Сколько бы мы ни насчитали действительно всеобщих положений в области фонетики — сюда относятся, например, физиологическая и акустическая классификация звуков речи, учение о слоге и ударении, некоторые наиболее общие законы изменения звуков, поскольку они могут быть установлены<sup>15</sup>, — весь этот материал не дает еще ничего подлинно общего и одинакового для различных языков как различных з н а ч а щ и х систем. Проблема же всеобщей грамматики естественно предполагает наличие каких-то общих моментов именно в з н а ч е н и я х. Что же касается словаря, то, хотя он и имеет ближайшее отношение к языку как значащему целому, его лингвистическая функция существенно различается от функции грамматики и синтаксиса. В словаре слово функционирует не как знак, а только как н а з в а н и е. В силу этого и теряет всякий смысл проблема всеобщей дисциплины в применении к словарю. Разность названий есть первый и необходимый признак наличия самого многообразия языков. Ведь даже и в том случае, когда утверждают, что разные названия в разных языках означают «то же самое», исходным пунктом остаются все же названия р а з н ы е. Всякая же попытка через название прийти к предполагаемому за ним содержанию, т. е. проникнуть вглубь структуры названия как такового, через предметную форму слова, приведет нас только к самому п р е д м е т у, — иными словами, выведет нас за пределы всякой лингвистики вообще.

---

<sup>15</sup> Например, меньшая или бóльшая степень палатализации согласных перед передними гласными; в связи с этим и общее учение о регрессивной и прогрессивной асимилляции и пр.

Совсем иное дело, когда речь идет о всеобщем учении в сфере грамматики и синтаксиса<sup>16</sup>. Собственно здесь только впервые язык есть для нас структура, откуда и проистекают все особенности, которые отличают проблему всеобщей грамматики от проблемы какой-либо иной всеобщей лингвистической дисциплины. В отличие от структуры названия, в грамматике мы не выходим за пределы языка как такового, когда идем вглубь структуры от внешнего к внутреннему, так как именно в этом «переходе», следовательно, — в отношении, которое создает самое структуру, только и существует сам грамматический предмет. Когда мы говорим о грамматической resp. синтаксической форме, т. е. о языке как знаке *καὶ ἐξουσίῃ*, об онтологии языка как знака, мы всегда имеем в виду некоторое отношение. Ведь и та «соотносительность элементов», которую в качестве главного условия грамматического контекста подчеркивала школа Фортунатова — а еще последовательнее школа де Соссюра, — также в последнем итоге может быть сведена на это первичное структурное отношение, конституирующее язык как осмысленный знак. Когда мы интерпретируем звукосочетание «стола» как род. ед., то в чем же здесь, в сущности, состоит этот переход от внешнего члена отношения к внутреннему, предполагаемый интерпретацией? Как очевидно, в том, что мы «сумели» объяснить себе, уразумели, «почему» и «зачем» к слову *стол* прибавлено здесь окончание *-а*. Следовательно, в самом акте уразумения грамматической формы, раскрывающем ее содержание как некоторое структурное отношение, нам дан и весь тот контекст соответствий и параллелей, который необходим для того, чтобы в звукосочетании *стола* различить две части: *стол-* и *-а*. Отсюда и следует с несомненностью, что сами эти соответствия и параллели, т. е. весь вообще грамматический контекст, с которым на практике имеет дело исследователь-лингвист, может быть получен только в акте структурной интерпретации того отношения, которое складывается как грамматический знак. Но это между прочим. Существенно же во всем этом для проблемы всеобщей грамматики то, что предмет, относительно которого мы пытаемся высказать всеобщее суждение, есть в данном случае не что иное, как структурное отношение. А так как идея всеобщей грамматики предполагает некоторые общие и одинаковые для разных языков моменты среди не общих и неодинаковых, то естественно формулируется тот вопрос, который и должен теперь послужить главной темой нашего рассуждения: может ли в этом осмысленном структурном отношении меняться один член структуры без того, чтобы не изменился коррелятивный ему другой член структуры? Нетрудно видеть, что рационалистическая традиция отвечает на этот вопрос положительно, когда считает различия между отдельными языками «только формальными» и «случайными» разногласиями и несовпадениями, всегда выражающими «одно и то же» неизменное содержание.

К критике этого положения, *sine ira et studio*, мы теперь и перейдем. Но чтобы облегчить себе эту критическую задачу, я уже сейчас, забрав несколько вперед, попробую сделать один напрашивающийся вывод из допущения, что за внешними различиями языков действительно нет

<sup>16</sup> Далее, как и выше, я полностью отождествляю грамматику и синтаксис на том основании, что для принципиального анализа решительно безразлично, имеет ли он дело с сочетанием самостоятельного и несамостоятельного значения в пределах одного слова или в пределах целого словосочетания. См. соответствующие определения у Марти, в статье: *Marty A. Über dass Verhältnis von Grammatik und Logik // Marty A. Gesammelte Schriften. II. Bd. 2. Abt. Halle, 1918. S. 92.*

различий внутренних и что это неизменное внутреннее и может поэтому служить предметом всеобщей лингвистической дисциплины. Мы должны прежде всего согласиться, что если это действительно так, то внешние различия между языками и в самом деле не оправдываются никакой внутренней необходимостью, будучи всецело продуктом случайности и исторического произвола. Допустив это, мы вынуждены принять и все вытекающие отсюда следствия. А тогда окажется, что обсуждаемые нами различия не только случайны и произвольны, но и вообще бессмысленны, потому что абсолютно непонятым становится, каково их назначение в строении и жизни языков. Однако и этого в свою очередь еще недостаточно. Если отдельные языки разнятся между собою «только по форме», то эти формальные отличия, мало того, что они бессмысленны и, следовательно, не нужны, непременно еще и вредны, поскольку справедливо, что они затрудняют международное общение и понимание.

Но пойдем до конца. Раз внешний член структуры знака не связан необходимо и безусловно со своим содержанием, то что может помешать нам заменить бессмысленный произвол истории, приносящий вред и взаимное непонимание, осмысленным и целесообразно направленным произволом разумного существа? Это условное и свободное обозначение, которым при всех этих допущениях оказывается словесный знак, безо всякого труда может быть заменено любым иным конвенциональным средством, а следовательно, и таким, которое может играть роль знака всеобщего и для всех народов равно понятного. Задача, таким образом, сводится лишь к тому, чтобы такое средство, единое и универсальное, характеризовалось преимуществами, достаточно наглядными для того, чтобы оно могло успешно выдержать борьбу с инерцией традиции: это уже дело точного расчета и талантливого изобретения. Мы видим, таким образом, что отсюда прямая дорога к идее универсального языка, ближайшей родственницей которого, следовательно, оказывается всеобщая грамматика, возможная в силу всего предыдущего тоже только как универсальная. Мы можем поэтому утверждать, что если возможна всеобщая грамматика, то возможен и всеобщий язык — и обратно: аргументация во всех случаях будет здесь непременно одна и та же. Это ближайшее родство идеи всеобщего языка и идеи всеобщей грамматики засвидетельствовано также, как мы знаем, и исторически. В новейшее время обе эти традиции рационализма, оставаясь неразрывно связанными одна с другой, своеобразно преломились в учении Марти\*. Все это, таким образом, дает нам право связать оба эти вопроса и в нашем изложении.

### III

Переходя теперь непосредственно к ответу на вопрос, поставленный в заглавии, мы сразу же можем заметить, что сделанные только что допущения относительно возможности всеобщей грамматики resp. всеобщего языка в равной мере упускают из виду специфичность связи между языком как знаком некоторого содержания и самим этим содержанием. В наше время всякое почти «введение в языковедение» начинается с того, что пробует отыскать отличительные признаки «языка слов» среди

---

\* Судя по маргиналии, автор предполагал указать здесь на критику логико-филологических положений А. Марти К. Бюлером. См.: *Bühler K. Vom Wesen der Syntax // Idealistische Neuphilologie (Festschrift für Karl Vossler). Heidelberg, 1922. S. 63—64.*

всех прочих мыслимых «языков»<sup>17</sup>. Усилия эти естественно направлены на то, чтобы обнаружить особый и специфический характер отношения между словесным знаком и его содержанием. Далекое не всегда, однако, принимается при этом в расчет, что специфичность этого отношения можно понять только тогда и только после того, как отысканы специфические моменты во внутреннем строении самого словесного знака. Для того чтобы уразуметь, чем отличается словесное выражение от многообразных иных отношений между «обозначающим» и «обозначаемым», как, например, отношений симптома, сигнализации, эмблемы, этикетки и т. п. и т. п., нужно, следовательно, прежде всего знать, что сам словесный знак в свою очередь есть не что иное, как отношение, притом отношение непременно структурное. Последнее нужно здесь подчеркнуть главным образом для того, чтобы наперед избавиться от возможных упреков, будто мы рассекаем на абстрактные куски то конкретное целое и внутреннее единство, каким представляется нашему сознанию словесное выражение. «От качества содержания к качеству формы вообще нет перехода» — формулирует, например, Кроче<sup>18</sup>. Перехода между отдельными членениями того отношения, какое мы имеем в языке, и в самом деле нет, если этому придавать смысл вещественный и материальный, но он существует как диалектическое звено в том уразумевающем акте, в каком соответствующее содержание становится достоянием нашего понимания. Что же касается самого отношения, в которое складывается словесный знак, т. е. грамматической — resp. синтаксической формы слова, то как раз ее предметный анализ и должен вскрыть основное противоречие, заложенное в идее всеобщей грамматики и всеобщего языка. В самом деле, спросим себя прежде всего, что такое то «неизменное» и «постоянное» «внутреннее», которое предполагается традицией всеобщей грамматики в словесном выражении при «подвижном» и «переменном» «внешнем»? Я полагаю, что здесь нет необходимости снова разъяснять многообразные эквивокации, которые связываются с употреблением терминов: «смысл», «значение», «содержание» и т. п. применительно к знаку и обозначению, — все это уже удовлетворительно расчленено в современной философии языка. Сошлюсь поэтому просто на прочно уже установленное различие между содержанием и значением для того, чтобы обнаружить неизбежную недостаточность вышеуказанного основного положения идеи всеобщей грамматики. Если это постоянное внутреннее есть действительно содержание, то оно вообще «не есть предмет ни науки об языке, ни в частности грамматики», — как отвечал Гуссерлю, совершенно превратно, впрочем, поняв его намерения, В. Поржезинский<sup>19</sup>. Если же под неизменным внутренним в данном случае имеется в виду значение слова, то, как сейчас увидим, оно также есть «только» форма, притом столь же подвижная, как и всякая иная, несмотря даже на свой очевидный внутренний характер.

<sup>17</sup> Поскольку речь идет об общих работах по языковедению нефилософского характера, сошлюсь, например, на известное сочинение шведского лингвиста А. Noreen, детально перечисляющее возможные типы и виды языков и так называемое *Vårt språk*, т. е. «язык слова». См. немецкий перевод-обработку этого труда: Noreen A. — Pollak H. W. Einführung in die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache. Beiträge zur Methode und Terminologie der Grammatik. Halle (Saale), 1923. S. I—VIII, 1—460.

<sup>18</sup> Кроче В. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. Ч. I. М., 1920. С. 19.

<sup>19</sup> Поржезинский В. Введение в языковедение. М., 1916. С. 214.

Нужно ввиду всего этого отдавать себе строгий отчет в том, что границы грамматической формы как некоторого отношения целиком умещаются в структуре словесного знака в тех ее пределах, которые можно считать пределами «означающего» и за которыми мы наблюдаем уже диалектический переход в сферу «означаемого». Эти границы — членораздельный звук, способный быть морфемой и в нее преобразованный — с одной стороны; логическое значение слова как форма его конкретного смысла и основание акта предикации — с другой. Внутри этих границ помещается, таким образом, грамматическое значение слова как форма его собственного материального и исторического бытия. При таком положении вещей усмотрение в сфере грамматики неподвижного внутреннего при переменном внешнем может означать: или, во-первых, полное отождествление грамматического значения слова с его логическим значением, — тогда мы получим традиционную логику грамматику рационализма, опровергать которую — значит ломиться в открытую дверь; или же, во-вторых, полное игнорирование тех модификаций, которые привносятся в логическое значение слова его грамматическими формами в качестве модификаций существенных и конститутивных для языка, — результаты этого модернизованного рационализма будут немногим лучше. Как третий случай, наиболее, пожалуй, вероятный и правдоподобный, можно принять совмещение обеих этих ошибок в одно целое, притом так, что вторая предполагает первую, но только маскирует ее: поэтому я и решился здесь говорить о модернизованном рационализме. Конкретно, как нетрудно теперь заключить, мы имеем в подобном случае дело с недооценкой тех внутренних форм языка, которые создают из него систему тропов; а это в конце концов предполагает грубую интерпретацию структурного отношения как абстрактной связи предмета с его знаком и отождествление понятий как особого рода интуиции с рассудочным умозаключением, узнаванием, угадыванием и т. п.

В типическом случае соответствующее истолкование тропированных качеств принимает следующий вид<sup>20</sup>. Троп, разумеется, есть вещь для языка необходимая. Без него стала бы совершенно невозможной поэзия и литература, лишилось бы своих оснований все то, что мы относим обычно к сфере «эстетики слова». Несомненно, с другой стороны, что троп, именно в силу того, что он есть перенесение значения, служит чрезвычайно удобным и экономным средством для мышления и понимания. Что было бы, если бы мы и в самом деле были принуждены для каждого нового предмета изобретать собственное название! Сколь бы, однако, все это ни было справедливо, задача научной мысли, например, именно в том и состоит, чтобы для каждого предмета мысли приискать свое имя, с вой термин. Таким образом, троп хотя и фундирует наше эстетическое переживание, хотя и экономит наши средства понимания, несомненно, в то же время, создает весьма серьезные затруднения, в особенно-

<sup>20</sup> Для типической иллюстрации этого рода интерпретации я пользуюсь главным образом учением Марти о фигуральной внутренней форме, как оно изложено в его *Untersuchungen*, статье об отношениях логики к грамматике и других работах. О том, что троп вовсе не есть какое-то «перенесение значения», — здесь, я полагаю, можно и не говорить. См., например, статью Н. Н. Волкова «Что такое метафора» в сб. «Художественная форма». М., 1927. Непобежденная многосмысленность всякого словесного языка выражения, в силу которой в всякое слово есть принципиально троп, превосходно иллюстрирована в популярной книге: *Erdmann K. O. Die Bedeutung des Wortes*. 3. Aufl. Leipzig, 1922. (См.: 1. Die Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit des sprachlichen Ausdrucks. S. 4—65).

сти для точного знания. Сколько усилий в самом деле приходится затрачивать всякий раз для того, чтобы высвободить тот или иной научный термин из сетей двусмысленности и неопределенности словесного значения! Не является ли всякая новая философская система только и ным пониманием того же самого в сущности слова и разве не приходишь иногда к заключению, что вся история философии есть только спор о словах? Насколько, следовательно, далеко можно было бы двинуть дело научного знания, если бы не троп, принципиальная и неизбежная необходимость которого к тому же ничем не доказывается. Именно потому ведь и называем мы троп тропом, что в идеале считаем возможным обойтись и без него. Ядро мысли, ее логическое содержание, можно передать другому и без помощи тропа. А отсюда следует, что для целей логического изложения по крайней мере, можно изобрести и такой язык, который абсолютно будет лишен тропов и в силу этого явится для всех равно доступным и понятным. И это возможно именно потому, что несмотря на все внешние различия между отдельными языками, в грамматике каждого из них можно вскрыть общее основание, упрятанное под красивыми, правда, но все же только случайными и для серьезного дела ненужными одеждами метафор и метонимий.

Таков или приблизительно таков должен быть ход мысли в случае, когда предполагается, что логические формы слова, которые здесь и принимаются, очевидно, за твердую и неизменную составную часть форм синтаксических \*, от последних совершенно независимы и абсолютно автономны в своем собственном бытии. Между тем, поскольку мы имеем все же дело с р е а л ь н ы м языком, как было выше обусловлено, этот тезис об автономности логических форм слова вовсе не так самоочевиден, как кажется. Вполне адекватная аргументация в его защиту отыскана быть не может, и прежде всего потому, что здесь снова путаются разные вещи, одновременно прикрывающиеся термином «язык» (вот тебе и передача логического «зерна» без тропа!). Последний понимается здесь то действительно как я з ы к, то как некоторый *logos*, всецело принадлежащий к сфере чистой логики и к грамматике имеющий отношение во всяком случае не непосредственное. Я берусь, например, утверждать, что нет большего заблуждения, чем мнение, будто язык науки, именно как я з ы к, лишен образности и совершенно очищен от своих качеств тропа. Пусть в пределе и тенденции научный язык есть действительно не что иное, как обнаженный термин, значит ли это еще, что он остается таковым и в р е а л ь н о м и з л о ж е н и и? Сколь бы «логично» ни было последнее, оно всегда все же будет изложением непременно через какие-то знаки, у которых никто не в силах отнять их собственное материальное и историческое бытие. А ведь это все, что нужно для тропа. Но, спросят, существует ли в таком случае вообще для всех единая, объективная истина? Очевидно, ответу я на это, что если и существует, то как истина вовсе не лингвистическая, а истина в прямом смысле н е з д е ш н я я, принадлежащая бытию идеальному.

Но в том мире, за могойлой,  
Где нет образов, где нет  
Для узанья, друг мой милый,  
З д е ш н и х ч у в с т в е н н ы х примет... <sup>21</sup>.

\* Согласно маргиналии, здесь предполагалась ссылка на сходное мнение Шпета. См.: Шпет Г. Внутренняя форма слова. М., 1927. С. 43—45.

<sup>21</sup> Баратынский Е. А. «Своеправное прозвание / Дал я милой в ласку ей...».

Видимая парадоксальность заключается здесь всего только в том, что научная истина, оставаясь для всех единой и объективной, вместе с тем, поскольку она в ы р а ж е н а, есть также некоторое звено в конкретной культурной истории. Будучи выраженной, она как социальный факт, как н а у к а в собственном значении этого термина занимает свое место в системе культуры античной, буддийской, славянской или буржуазной, рядом с литературой, искусством и прочими формами культурного выражения. Наука и в самом деле говорит об истинах вечных и объективных, но рассказывает она о них непременно все же на языке соответствующей культуры, без посредства которой сами эти истины оставались бы для нас вечно недоступным, за семью печатями запечатанным сокровищем. Нет, следовательно, единого языка и единой грамматики, пока не изобретена единая мировая культура<sup>22</sup>. Поэтому же не может быть также вполне адекватного перевода научного сочинения с одного языка на другой. Никакая попытка отыскать в этом отношении для научного языка какие-либо особые условия, в отличие от языка поэзии и литературы, например, уже а priori не выдерживают критики. Если в области научной литературы пользующийся переводом и в самом деле «рискует» несколько меньше, то это только потому, что в поэзии совсем особую роль играет сам язык с его собственным строением; содержание же все равно никогда не дано вполне адекватно — ни в науке, ни в поэзии, — его все равно приходится извлекать из знака сложными операциями критики и интерпретации. Стоит, однако, сообразить, что в иных условиях и научный язык может быть интересен как таковой, например, с точки зрения филолога, изучающего конкретную историю науки; или с точки зрения биографа данного ученого автора, не говоря уже о возможных многообразных интересах к научному языку со стороны лингвистической стилистики, — чтобы прийти к заключению, что судьба самого я з ы к а, как в поэзии, так и в науке, всегда останется одна и та же. Вовсе не «искажая» как принято думать, содержание, а только ставя его в иные условия интерпретации, всякий перевод вреден и неадекватен только в той мере, в какой он одну систему тропов подменяет другою \*. П о д л и н н о с т ь выражения не гарантирует еще, разумеется, верного понимания:

Напрасно лепетал ты эллинские звуки,  
Ты смысла тайного речей не разгадал<sup>23</sup>,

но теперь понятно, по крайней мере, в каком смысле неизбежная неадекватность выражения, принципиальная «невыразимость» идеальной истины, прочными нитями связывает научное изложение с той системой культуры, в рамках которой оно возникло. Культура всегда есть некоторое к о н к р е т н о е ц е л о е, и наука как ее отдельное звено не может быть вырвана из общей системы культуры без того, чтобы не было нарушено это целое. Полемизируя с Максом Мюллером, который предлагал для целей научного изложения ограничиться четырьмя главными европейскими языками, милостиво оставляя прочим, так сказать «туземный», языкам возможность заниматься поэзией (старый, затасканный и все же

<sup>22</sup> Дело здесь, разумеется, вовсе не в одних расовых, но также в социальных гесп. профессиональных, классовых, производственных, бытовых и т. п. условиях.

\* Предположительно эта мысль должна была быть подкреплена маргинальной цитатой из Сэпира: «One can adequately translate scientific literature because the original scientific expression is itself a translation» (*Sapir E. Language. N. Y., 1921. P. 239*).

<sup>23</sup> *Фет А. А.* «На развалинах цезарских палат» (из цикла «Античный мир и антологические стихотворения»).

вечно соблазнительный рецепт!), Потебня писал: «Макс Мюллер хочет увековечить расстояние между языком науки и языком поэзии. Между тем расцвет поэзии в новой литературе везде сопряжен с уменьшением этого расстояния»<sup>24</sup>. Формулировку эту, как легко видеть, можно развернуть так: выработка языка как следствие успехов поэзии создает почву и для успешного развития науки. Поэтому-то Пушкин, которого вспоминает здесь Потебня, и сетовал, обдумывая проблему русской прозы: «Ученость, политика, философия и о-р у с с к и еще не изъяснялись»<sup>25</sup> (разрядка моя. — В. Г.).

Но переведем все это на язык нашего анализа. Вернемся к основному противоречию, которое, как я пытаюсь показать, как бы изнутри разъедает идею всеобщей грамматики *gesp.* всеобщего языка. Противоречие это заключается в том, что все то в языке, к чему можно было бы применить характеристику «неизменного внутреннего» при «подвижном внешнем», неизбежно оказывается за пределами самого языка как *sui generis* исторической вещи, т. е. за пределами г р а м м а т и к и. В случае так называемой логической грамматики, повторяю, это вообще не требует никаких дальнейших доказательств. Здесь грамматическая форма без остатка отождествляется с морфологическим указанием, а на ее место становятся просто-напросто логические термины, именно как л о г и ч е с к и е и понимаемые: субъект, предикат и т. д. Нисколько не лучше, однако, обстоит дело, когда «твердое и постоянное внутреннее» отыскивается в языке, н е с м о т р я на признаваемое своеобразие грамматических форм и их модифицирующее значение для логического значения слова. Если и в этом случае нечто признается твердым и неизменным, то это естественно может относиться только к формам модифицируемым, а не модифицирующим, т. е., следовательно, опять-таки к формам логическим. Логическое же значение слова и в самом деле можно назвать «постоянным» и «неизменным» по отношению к тем подвижным и переменным нюансам, которые привносятся в него текучим, живым и вечно обновляющимся синтаксисом, — этой плотью и кровью языка. Но тогда и будем называть это л о г и к о й, а не грамматикой. Мы приходим, следовательно, к парадоксальному, нелепому даже, на первый взгляд, выводу. Всеобщая грамматика б ы л а б ы возможна, если б не эти синтаксические нюансы. Всеобщий язык б ы л б ы возможен, если б можно было вообразить язык, который не оказывал бы своим собственным предметным бытием этого модифицирующего воздействия на логическое значение. Иными словами, всеобщая грамматика и всеобщий язык тогда только получают *raison d'être*, когда мы говорим о них в применении к языку, лишенному своего собственного бытия, т. е. языку, у которого вообще нет никакой грамматики, к я з ы к у б е з с и н т а к с и с а. Предоставим разгадывать этот парадокс любителям утопий. Последние не перестают быть сами собой оттого, что прячутся за целыми, можно сказать, баррикадами эквивоканий. Пусть никогда не будет народов и классов — всегда останутся профессии. Пусть исчезнут этнические и антропологические различия (если, впрочем, исчезнут) — всегда останется социально-культурная иерархия. Явный утопический характер всеобщей грамматики,

<sup>24</sup> Потебня А. А. Язык и языки, по поводу статьи Макса Мюллера (*Deutsche Rundschau*, 1881, № 11) // Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 627. (раздел «Приложения»).

<sup>25</sup> Пушкин А. С. «(Причинами, замедлившими ход нашей словесности...)» (неопубл. черн. набросок).

которая, как и всякая иная утопия построена на мечте, будто могут когда-либо измениться онтологические условия бытия,— бьет в глаза. На деле, как и следовало ожидать, под луной ничто не ново.

#### IV

Я мог бы на этом и закончить, если б не хотел еще сделать свою аргументацию более отчетливой с помощью некоторых дополнительных сопоставлений, а также некоторых ограничений. Что касается сопоставлений, то они сами собою напрашиваются, если принять во внимание, что ближайшим соседом и родичем грамматики, возникающим к тому же как прямое следствие выше намеченного анализа грамматической формы, является поэтика. Грамматика, указывали мы выше, создает на логической основе троп, но ведь самый троп она еще не изучает. Между формами модифицирующими и формами модифицируемыми и отыскиваем теперь сами эти модификации и как особые поэтические формы слова. Троп, как следует из всего предыдущего, хотя и составляет минимальное условие поэзии, присутствует тем не менее не только в специфически-поэтической речи, но и во всякой иной, ибо реальная нетропированная речь — есть фикция. Так мы возвращаемся к учению, на русской почве представленному так называемой лингвистической теорией Потебни, который не побоялся сказать, что всякий язык есть поэзия,— разумеется, в потенции<sup>26</sup>. Ошибка Потебни состояла лишь в том, что он слишком уж легко решил отождествить язык и символ, между тем как поэзия в своей конкретной и осуществленной полноте, а не минимально-необходимом условии, предполагает некоторого рода образный контекст тропов как условие символизации действительности и преобразования ее в «третью», «кажущуюся» — истину (Платон). Как бы то ни было, впрочем, этот образный контекст тропов как условие поэтического выражения только лишний раз подчеркивает близкую зависимость поэтики от синтаксиса, а «преобразующий» характер поэзии прочно связывает поэтику с тем, в чем преобразование совершается, т. е. с логикой. Если, таким образом, поэзия есть логика, преобразенная синтаксисом<sup>27</sup>, то здесь и воз-

<sup>26</sup> Эта ссылка на Потебню не должна, само собою, пониматься как возвращение к специфическим ошибкам потебнианства. Я исхожу из убеждения, что очищенное от тех своих ошибок, которые были обусловлены обстоятельствами временными и социальными, учение Потебни снова способно заблестеть своими положительными и созидательными качествами как русское приложение гумбольдтовской традиции. Внимательное чтение «Мысли и языка», как мне кажется, легко обнаруживает те случайные и в конце концов внешние причины, в силу которых антиномии Гумбольдта под пером Потебни заговорили языком гербартианской испехологии. Гумбольдт, оказывается, «не мог оторваться от метафизической точки зрения, но он именно положил основание перенесению вопроса на психологическую почву своими определениями языка как деятельности» (Потебня А. А. Мысль и язык // Потебня А. А. Полн. собр. соч., 4-е изд. Пересмотренное и исправленное. Одесса, 1922. Т. I. С. 38. (разрядка моя.— В. Г.). Так, следовательно, научил Штейнталь Потебню принимать гумбольдтовское ἐνέργεια, которое на деле есть всего только ἔργον в его динамике, вечное становление духа! Но во всяком случае ничто теперь уже не оправдывает утверждения, будто наше антипотебнианство есть течение здоровое, как это высказал Г. Шпет (Эстетические фрагменты: III. Пг., 1923. С. 38): изгнание психологизма из поэтики и лингвистики вовсе не должно еще вести к оправданию поэтического и филологического футуризма.

<sup>27</sup> Таков конечный вывод из анализа синтаксических и поэтических форм слова в Эстетических фрагментах. См.: Шпет Г. Эстетические фрагменты. II. Пг., 1923. С. 56—79.

никает вопрос: не дает ли эта — пусть преобразованная — но все же логика основание утверждать возможность некоторого всеобщего учения в этой сфере поэтического преобразования? А priori на это можно ответить так: если и дает, то, очевидно, лишь поскольку мы можем настаивать на этом «все же», т. е. в той именно мере, в какой и преобразованная логика продолжает быть «просто» логикой. Таким образом, мы снова возвращаемся в порочный круг, который только что с такими усилиями оставили, так как очевидно, что в данном случае в качестве постоянного внутреннего основания модификации какой-то условной и пока еще не найденной «внешности» противопоставляется снова не что иное, как только модифицируемое. Если же мы не хотим отождествлять поэтическое с логическим и ставим себе задачей утвердиться в границах самой модификации, т. е. поэтического образного контекста, то нам остается только объявить внутренним сам этот контекст, иными словами — преобразованную логику именно как преобразованную. Тогда внешним окажется все, что входит в область поэтического языка. Стоит, однако, задать себе вопрос о месте поэтического синтаксиса в этом новом отношении, чтобы сразу же понять, что собственно язык есть здесь столько же внешнее, сколько с равным правом и внутреннее. Раз синтаксис присутствует здесь в самом внутреннем, в качестве условия самой поэтической модификации, то к мысли о всеобщей поэтике может быть применено все вышесказанное относительно всеобщей грамматики. Что же до дальнейшей характеристики поэтического, которое при ближайшем рассмотрении вообще оказывается столько же «внешним», сколько и «внутренним», столько же «содержанием», сколько «выражением», т. е. абсолютным и нераздельным их слиянием, — то ее можно здесь оставить и недосказанной.

Но все это пока только а priori. Попробуем теперь представить себе несколько более наглядно, что могло бы составить предмет такой всеобщей поэтики. Если оставить в стороне очевидно сюда не относящуюся область поэтической стилистики, обнимающую, например, просодию, метрику, все вообще материальные и синтаксические средства языка in usum poetae, — то в качестве основной и определяющей проблемы поэтики, исчерпывающей ее специфическое содержание, у нас останется композиция. Здесь, очевидно, и совершается слияние синтаксиса и логики. Но как раз в этой области и возникает соблазн обобщить до степени всеобщности подмеченные в разных системах поэтики сходные явления. Так начинает казаться, что возможно всеобщее учение о балладе, сонете или комедии; что всеобщими в нашем смысле признаками характеризуется тот или иной эпический жанр или новеллистическое построение и т. п. Стиль «стал типическим», — писал акад. Веселовский, иллюстрируя открытый им «эпический схематизм». «У певцов свой песенный Домострой... герои определенным образом снаряжаются к бою, в путь, вызывают друг друга, столуют; один как другой; все это выражается определенными формулами, повторяющимися всякий раз, когда того потребует дело. Складывается прочная поэтика, подбор оборотов, стилистических мотивов, слов и эпитетов: готовая палитра для художника»<sup>28</sup>. Ответ на вопрос о подлинности подобной всеобщности — и притом ответ отрицательный — дан, однако, самим Веселовским в определении ее как всеобщности типической.

<sup>28</sup> Веселовский А. Н. Три главы из исторической поэтики: I. Спикретизм древнейшей поэзии и начала дифференциации поэтических родов // Веселовский А. Н. Собр. соч. (Поэтика). Т. I. СПб., 1913. С. 321—322.

Нетрудно видеть, что всеобщность типическая и всеобщность действительно всеобщая — это вещи совершенно разные. О подлинно всеобщей поэтике можно было бы говорить, если бы мы были вправе утверждать, например, что внутреннее отношение, дающее, положим, трагедию или сонет, непременно присутствует во всех без исключения системах поэтики и притом непременно с о д и н а к о в ы м жанровым значением. Подобно этому идея всеобщей грамматики предполагает, например, что какой-нибудь опатив или аблатив есть во всех языках, но только «по-разному» морфологически в них выражен. Но точно так же, как есть языки вовсе безо всяких падежей, а, с другой стороны, в финских языках к примеру есть и такие падежи, которые никакому рационалисту вовсе не снились<sup>29</sup>, так и народная словесность не знает, что такое трагедия, а сонет Шекспира, по своей конкретной жанровой функции, по своему внутреннему поэтическому назначению, есть нечто существенно отличное от сонета русских символистов. В э т о м смысле, следовательно, всеобщая поэтика, неизбежно предполагающая возможность всеобщего синтаксиса, есть такая же химера и утопия. Совсем иное дело, однако, те типические совпадения, которые обнаруживает в различных поэтических системах Веселовский. Обращение к этой новой проблеме и составит для нас заключительный переход к тем ограничительным дополнениям, которыми я хочу завершить свое рассуждение.

Из биографии Веселовского мы знаем, что с вопроса, что такое «всеобщая литература» и началась собственно его ученая деятельность. На вопрос этот молодой Веселовский отвечал, что никакой «всеобщей литературы» естественно не существует, но что отдельные литературы отдельных народов обнаруживают некоторые общие черты, — и постольку возможна всеобщая и с т о р и я литератур. Предметом ее должны быть «частные литературы в их сродных чертах»<sup>30</sup>. Ответ этот имеет, однако, два смысла, и кажется, что у Веселовского они не различаются. Во-первых, эта всеобщая история литературы может быть понята просто как сводное изображение отдельных литератур в их истории и развитии. Тогда простое сопоставление их дает уже меру сравнения, и так как Веселовский настойчиво прививал литературоведению так называемый сравнительный метод, по образцу индоевропейской лингвистики, то можно думать, что именно так он себе свою науку и представлял. Но речь здесь может идти действительно и о т и п и ч е с к о м только сходстве. В этом случае внимание историка фиксируется уже не на сводном сопоставлении различных литератур, и не сравнительный метод служит тогда для него мерою вещей. Проблемы с т и л я и культурного генезиса заслоняют тогда от исследователя все остальное и уже э т и м и масштабами руководится он тогда в своих обобщениях и индукциях. Такова в сущности последняя причина того, например, обстоятельства, что под ярлыком в с е о б щ е й литературы университетская и академическая практика выделяет в особый предмет и в особую кафедру историю одних е в р о п е й с к и х литератур<sup>31</sup>. Действительно, судьба европейских литератур обладает несомнен-

<sup>29</sup> Марти, разумеется, совершенно прав, когда говорит, что все это различия «только» в области внутренней формы. Но как будто этого недостаточно для того, чтобы перечеркнуть сверху донизу все теории всеобщей г р а м м а т и к и! См.: *Marty A. Über subjektlose Sätze und das Verhältnis der Grammatik zu Logik und Psychologie // Marty A. Gesammelte Schriften. II. Bd. 1. Abt. (XIII) III. Halle, 1918. S. 62—67.*

<sup>30</sup> См.: *Энгельгардт Б.* Александр Николаевич Веселовский Пг., 1924. С. 32—33.

<sup>31</sup> Сам Веселовский в своей «Поэтике» переходит эти европейские границы лишь

ным внутренним единством, хотя оно и выражается в каждой отдельной европейской литературе своеобразно с ее национальными особенностями. Ренессанс, классицизм, романтизм, натурализм, символизм, — далее психологический роман, гражданская лирика, байроническая поэма и т. п. и т. п. — все это проблемы для каждой национальной европейской литературы приблизительно одинакового значения и содержания. Во всяком случае тут есть общий контекст развития и осуществления. Именно в меру наличности этого контекста мы и можем все эти литературы рассматривать как одну литературу одного народа, — возможность, которую вне рамок типического рассмотрения Веселовский справедливо отвергал.

Но нам пора теперь сделать отсюда нужные выводы для лингвистической науки. Как известно, Шарлю Балли мы обязаны указанием на соответствующую проблему в области грамматики, но я не знаю, использовано ли кем-либо это указание практически. Что же касается того обстоятельства, что у Балли эта проблема указана в рамках стилистики, то это только подчеркивает смысл ее и значение для моей темы. Я имею, разумеется, в виду те параграфы «французской стилистики» Балли, в которых он утверждает наличие особой «общевропейской стилистики» как выражения некоторой общей «*mentalité européenne*»<sup>32</sup>. «Даже и для поверхностного наблюдателя, — пишет Балли, — современные языки так называемых „цивилизованных“ стран обнаруживают бесчисленные сходства, а в их непрерывной эволюции языки эти не только друг от друга удаляются, а наоборот все более между собою сближаются»<sup>33</sup>. Разумеется, что такие же проблемы возможны и в других областях, — например, можно себе представить какой-либо международный жаргон биржевиков или шахматистов, общую стилистику партийно-политической агитации, церковного богослужения и т. п. С этой точки зрения и общая грамматика одного какого-либо народа, оставляющая без внимания его социальную диалектологию, например, также базируется на некоторых типических сходствах и совпадениях в синтаксисе всех диалектов и всех профессий, и поэтому о такой грамматике можно с полным правом говорить как о грамматике действительно русской или польской, а не только как о грамматике соответствующих литературных языков. Во всех этих случаях о грамматических формах речи действительно можно говорить с некоторым приближением, далеким, разумеется, от признания всеобщности соответствующих фактов, как о «постоянном внутреннем», по отношению к изменчивой и подвижной, осмысленной через морфемы, фонетике. И именно в этой мере факты этого рода ограничительно дополняют наше общее решение проблемы всеобщей грамматики.

Последнее ограничение, о котором я должен еще упомянуть, это необходимость различать всеобщую грамматику *resp.* поэтику и теорию языка как *resp.* поэзию. С другого же конца эти «теории» должны различаться с соответствующими проблемами философии — философии языка и философии поэзии. Пусть действительно у разных языков и у разных социальных единиц разных синтаксис; пусть у каждой поэтической школы и у каждого литературного законодателя своя поэтика. Однако в педагогических и так сказать научно-ориентировочных целях не только полезно, но и необходимо бывает взглянуть на сами эти несо-

---

в той мере, в какой он привлекает фольклорный материал, где есть свое типическое и свой стиль.

<sup>32</sup> *Bally Ch. Traité de stylistique française. V. I. § 25 — Étude d'autres langues modernes. P. 22 — 23; § 26 — La mentalité européenne. P. 23 — 24. Heidelberg, 1921.*

<sup>33</sup> *Bally Ch. Ibid. P. 22.*

падения в одной картине с р а з у, чтобы освежить свою память наблюдением над тем, что вообще в о з м о ж н о и какие частные формы в с т р е ч а ю т с я в соответствующих областях. Разнообразный и богатый опыт, который заключен в изученных языках и осуществленных системах поэтики, требует о б о б щ е н и я. Каждый крупный этап в науке и поэтическом развитии принуждает подводить и т о г и, чтобы на основе уже накопленного опыта судить о фактах, обещающих опыт новый. Так после того, как европейцам стал известен санскрит, создалась т е о р и я индоевропейской грамматики, а развитие греческой трагедии завершилось «Поэтикой» Аристотеля. Именно то обстоятельство, что всякая теория есть обобщение из наблюдаемого, и побуждает обычно представителей эмпирического знания с недоверием и подозрительностью относиться к «теориям, не основанным на фактах». Это, разумеется, и право и обязанность их. Так и литературная критика вправе упрекать поэтические школы, начинающие с деклараций и теоретизирующих манифестов. Недоразумения, однако, начинаются тогда, когда под видом теории, «не основанной на конкретном материале», громят учение философское. Провести эту грань тем более необходимо, что обычно в научной практике теории эти, из справедливых педагогических соображений, преподносятся вместе с обрывками соответствующих философских положений, в виде так называемых «Введений в языковедение», «Теорий поэзии» или «Теорий словесности» и пр. Поскольку, следовательно, речь идет о н е философском материале этого рода научной литературы, заимствованном из различных конкретных структур выражения и порою состоящем из некоторых типологических классификаций, постольку мы можем и его условно характеризовать как материал «всеобщий». Но, разумеется, только условно.